

Сергей Коровин

Б У М Е Р А Н Г

С того момента, как Канительников пришел и сел на деревянную лавку, и официант сказал ему: здорово, мол, и тому подобное, — и поставил перед ним первую кружку, он так ни разу и не поднял глаза, не притронулся к пиву, не пошевелился — прислушивался, как душистый хмель и синий мох оплетают его, лелеют ступни и икры, впитывают испарения влажного тела, замученного бесконечным движением по безобразным дорогам и уже не боялся, как прежде, что эти пути превратят его, легконового зверя, в мясную тушу, из которой вырезают грудинки и филейки. "Таких уже не едят, — думал он, глядя, как покрываются зеленью волокна одежды, как заползают под кожу проворные корневища в поисках питательных веществ. — Я — удобрение, компост, торфоперегнойный горшочек".

— Видишь, на кого я похож? — обратился он, наконец, к своей кружке. — Что же делать мне такому? Ну, чего ты молчишь?

— Пиво пить, — ласково ответила мудрая вещь.

Канительников послушно принял, и с первым же глотком в ушилице, где, подобно рембрандтовской Данае, томилась канительниковская душа, проник Джон Ячменное Зерно. Он пролился золотым дождем, смешался с нею, наполнил, превратил пустынные барханы в веселый оазис с райскими птицами.

Пока его душа предавалась плотским утехам, Канительников прислушивался и гадал, кто попискивает у него в животе от восторга, кто ж это там такой повторяет: "Ах, Джони, Джони, Зернышко ты мое, что ты со мной делаешь? Ах, как хорошо, ох, как хорошо!" Канительников, который относил себя к материалистам и всегда считал, что у него в середине нет ничего, кроме положенных внутренностей, собственного дерьма и сомни-

тельной крови, очень удивился, потому что вдруг ощутил себя сыном природы, ее любимым ребенком, одушевленным звеном в единстве, братом полезных насекомых и целебных растений, необходимой частицей круговорота воды в природе.

- Что ж это за скотская жизнь такая! - вознегодовал его разум, просветленный движениями души. - Что ж это за скотская жизнь, когда только выпивши чувствуешь себя человеком?

У Канительникова слезы навернулись на глаза, когда новая волна блаженства растерзала на части клубок Господнего дыхания, распростертый на его прыгающей диафрагме: он слышал их счастливое шуршанье на смятом батисте.

- Хау дью файндми? - спросил Джон Ячменное Зерно свою возлюбленную, явно напрашиваясь на комплимент.

- Ах, боже мой, ты еще спрашиваешь! Разве ты не видишь? Да мне никогда не было так хорошо, чтоб ты знал. Никогда, ни с кем! - торопливо ответила душа Канительникова, совершенно уверенная в искренности своего признания.

Ей припомнились гадкие водочные отрывки, истеричные представления слабоумного вермута, пелерастические поцелуйчики шампанского, животные выходы нахрапистых усатых коньяков, ежедневные побои грубого невоспитанного портвейна. А спирт? Это же вообще - страшно вспомнить - он же бандит, гангстер, маньяк, вурдалак какой-то! Вот уж подонок, так подонок!

Сердце души сжалось, и она всдлакнула на веснушчатом плече молодого шотландца: "Боже мой, до чего мне с тобой хорошо, ты даже представить себе не можешь", - лепетала она срывая слезы.

- Уотс зе мэта? Уот хэпенд? Уот эбаут? - всполошился Джон Ячменное Зерно и бросился ее успокаивать, вытирать слезки, целовать щечки. - Бат доунт!

- Никогда, ни с кем... - горячо шептала душа Канительникова в его рыжие датлы. - Ах, это такие подонки, такие сволочи! Боже мой, до чего мне с тобой хорошо!

Джон Ячменное Зерно почувствовал себя смущенным, польщенным и, в благодарность за признание его неоспоримых достоинств, готов был немедленно выслушать все самые женские сокровенности, накопленные хоть от сотворения мира - безумные откровения, две унции которых достаточно, чтобы пустить ко дну Британский Королевский Флот. Две унции!

- Тел ми, - взмолился тот, кому не терпелось совершить очередной подвиг во имя любви. - Тел ми... Уай дуу край, ит уилби О.К. - что значило по-русски: не надо ничего выдумывать и все будет о'кей.

- Не надо, и так пройдет, мой милый, забудется - это такое фуфло.

- Уот дазит мин: па-доун-хи-и?

- Да черт с ними, - она вдруг вздохнула и улыбнулась, - они тоже нужны: на их фоне мы - сущие ангелы!

- Не горюй, - сказала душа Канительникова своему возлюбленному, совершенно онемевшему от отчаяния, подавленному внезапно появившимся в интимной атмосфере будуара нечеловеческим запахом ее бессмертия, от которого гаснут папиросы, и мужчины не могут делать женщинам приятные сюрпризы - у них пропадает дар речи. - Не горюй, теперь мы никогда не расстанемся.

- Тел ми, - умолял рыжий иностранец, - тел ми ё тру сто-ри.

- Уэл, - ответила душа Канительникова, - мне от тебя нечего скрывать. Это было совсем недавно.

Совсем недавно, всего пять лет назад, когда Канительников еще умел читать и писать, - он даже не догадывался, что у него есть душа. Виной тому, очевидно, было его незаурядное тело, большая голова, полная дерзкого тщеславия, а, может быть, голубые погоны десантного ефрейтора, которые он так и не мог отодрать с плеча, хотя священный долг отчизне отдал сполна еще до начала эпохи Великого Подорожания, - он так и остался в чем-то ефрейтором. А для чего ефрейтору душа, - тонко шутят солдаты, - когда у него есть нашивки? Кстати, это его мать, Вера Ивановна, устроила сыну "протекже" по военному ведомству: попросила майора Ковалева, знакомого военкома, пристроить мальчика поближе к небесам, а так бы гнил в стройбате. Она мечтала увидеть его значительным мужчиной. Ну не романтика ж вдекла ее, не почет по телевизору - даже смешно, ей-богу, а владела Верой Ивановной мечта о безоблачной бесконечной старости в оренбургском пуховом платке на большой казенной даче. "Тебе нужно пройти эту суровую школу: ты не думай - и последнему доценту и директору овощной базы нужны крепкие локти", - поучала она Канительникова, вручая ему ме-

шок с ложкой и кружкой. "Дай-ка я сама остригу тебе волосы".

Во дворе военкомата Вера Ивановна сказала на прощание: "Учись военному делу настоящим образом", — отчего сконфузил-ся даже майор Ковалев.

Канительников так и поступил: он мгновенно превзошел товарищей во владении оружием, за что и был произведен в ефрейторы. Радости Веры Ивановны не было границ: она с удвоенной энергией стала помогать сыну в нелегком ратном подвиге — даже на беломоре, который Канительников получал по почте, красовались крылатые выражения вроде: "Где русский конник, там враг покойник" или "В атаке граната — вместо брата" /к несчастью, он еще умел читать/..

Кстати, первый флакон одеколона Канительников вынул потому, что мамой на нем была сделана потрясающая надпись: "Кипит суп — котелок друг, стук-бряк — котелок враг", тогда вся батарея загуляла, и сержанты, и старшина Кимаковский развернул баян у каптерки — так это было тонко и непостижимо. Пили за возрождение традиции, за славу русского оружия, были отменены чины и звания — все говорили друг другу "ты". В тот день Канительников был впервые подвергнут арестованию, но скоро это стало системой, и он начал относиться к своей участи философски. Уверяют, что он ни разу не погулял увольнения до обеда, не долежал в санчасти до ужина, а в кухонном наряде никому в голову не приходило искать его утром — все знали, где он находится и когда выйдет. "Лихой человек, — говорил про него начальник штаба накануне маневров, — но мы не можем держать его все время под арестом — он лучший наводчик дивизиона". Канительникову возвращали ремень, везли на полигон, где он показывал чудеса боевой выучки: поражал мишени с коротких остановок; виртуозно владел самозащитой без оружия; совершал ночные прыжки из военно-транспортных самолетов — и все на пятерку. Затем ремень отбирали и вновь сажали под замок, чтобы он не наливался и был готов показать свое умение всякий раз, когда внезапно родина прикажет. . . .

Знай, вероятный противник: десантные войска всегда в повышенной боеготовности!

И именно там, на "кичмане", в состоянии повышенной боеготовности, Канительников осознал, что по жизни ему следует

идти в статском платье. Он с трудом дождался приказа и вышел прямо с губы в запас ефрейтором, а следом за ним ветеран дивизии замполит майор Былов подал рапорт на отставку, который начинался словами: "Долго мое сердце не знало покоя, но теперь я могу умереть без сомнения..."

"А почему бы не к звездам: ты с детства увлекался телескопом", - сказала Вера Ивановна демобилизованному сыну и достала из комода самодельную подзорную трубу, которую Канительников утащил еще из дома пионеров, чтобы разглядывать с парашюта настоящие военные самолеты на палубе авианосца "Китти Хог", когда эта машина вползла в Неву и покорила жителей Северной столицы циковинными обводами и гигантским флагом Соединенного королевства, свисавшим до ватерлинии.

Канительников тогда носился по набережной с другими мальчишками и кричал в восторге: "Вот бы его подзорвать! Вот бы его потопить!" - не столько от избытка чувств, сколько из желания отомстить своей очаровательной классной "англичанке" Нинель Ароновне, тут же на ветру сообщавшей группе британских офицеров назначение и устройство Исаакиевского собора, досадить, потому что ей явно нравилось, что на нее во все изумрудные глаза, не отрываясь, глядел юный рыжий штурман развед-эскадрильи Джонни Максвелл, будто она и есть "уандефул-бьютифул-грейтист" - украшение Северной столицы, а вовсе не тот золоченый кенопи * на той стороне, как две капли похожий на "Сент Пола", если, конечно, глядеть с Линдагат Хилл.

"Как долбануть бы в пороховые погреба!" - орали ревнивые учащиеся, и Канительников демонстративно целился под настройку подзорной трубой, как из пушки.

Потом он узнал, что она вышла-таки замуж за какого-то англичанина и живет в Бристоле, и дети у нее рыжие. Ну, и наплевать.

"Выброси к чертовой матери, видеть не могу", - сказал Канительников, однако пошел и выдержал вступительные испытания на астрономический факультет. - "Сквозь тернии к звездам: черт возьми, почему бы и нет?"

* купол парашюта (англ.)

Легко ступая Канительников по университетской дорожке с музыкой Лэд Зеплин, подбирая безо всякого труда вороха знаний, как прошлогодние причудливые листья в Парке Победы. Товарищи относились к бывшему десантному ефрейтору с уважением, а серьезные однокурсники поглядывали поверх очков и расставляли для него свои тенета в укромных уголках астрономической обсерватории: рассчитывали, что он б у д е т значительным мужчиной в недалеком будущем. Он это чувствовал, и его окрыляло ощущение собственной исключительности.

Но однажды, когда Канительников в очередной раз блеснул — сдал единственный со всего курса самому профессору Винегретникову мат-анализ на пять баллов, тот похвалил его и спросил, между делом, подписывая зачетку: кем, мол, прекрасный юноша, проявляющий недюжинные способности, хочет быть в этой жизни. Профессор только и хотел, что поощрить примерного студента непринужденной беседой, а Канительников туго замолчал, только многозначительно пошевелил у себя под носом испачканными мелом пальцами /вспомнил, что ли, наказ своей мамочки/. Профессор удивился: "Что, уж не пер аспера ли ад астра? Похвально, замечательно, юноша: у Вас там, наверное, родственники?" Тут Канительников почему-то сразу понял, что ему никогда не удастся развить первую космическую скорость, а придется до конца дней ежедневно сидеть в учреждении по восемь часов и, в лучшем случае, рассчитывать орбиты для тех, у кого "там родственники", или для баллистических ракет. Кроме того, сколько там ни сиди, хоть досиди до академика, водка и прочее уже не подешевеет, а чем еще служащему утолить печали, в чем утопить крушение юношеских през? Мало того, Канительникова охватила паника, когда он представил, что его глубокие знания, точная интуиция и светлый ум будут однажды приложены к тому, что подорожают и папиросы! Были уже такие разговоры, и люди лихорадочно набивали портсигары, чтобы умереть с дешевой папиросой в зубах. Канительников поглядел на небо и увидел гаснущую звезду своей жизни.

"Нет, я не стану врагом миллионам братьев", — сказал он, едавая в библиотеку сочинения Коперника и Галилея — у него на зубах заскрипел прах его республиканского дедушки, которого разорвали в клочки неграмотные тверские крестьяне, когда он им устроил кооператив.

А всему виной бурная дедушкина молодость. В сиреневом мундире Политехнического он кричал дерзкие слова с газовых фонарей в проезжавшие экипажи; вопил кузину глядеть на ненормального в желтой блузе; кушал в кондитерской Максимова на Среднем профитроли и мечтал о благосклонности Пентесилеи снежной петербургской сцены, которая слыла неразборчивой в сексуальных связях или, как тогда говорили, страдала половой неводержанностью, то есть нимфоманией. От одного этого слова сладкая и влажная дрожь одевала его в кольчугу из пупырышков, отчего даже циничных девочек в маленьких гостиницах на Лиговке он умолял кричать: "О, жажду!" — и рыдал от сознания того, что его сиреневый мундирчик не составит конкуренции бросовским сюртукам, имущим власть и славу в отжившем мире, ни при каких обстоятельствах. Дедушка рыдал и бросал ей розы, и так продолжалось, пока не доползли по нашей Северной столице невообразимые слухи. Тогда он воспрял духом, пришел к своему дяде — лидеру республиканцев балтийского экипажа — мичману, которого прежде и знать не хотел за то, что тот не ходил в театр на Офицерскую, не обожал "вечную женственность", пришел и выпросил себе ничейный браунинг с восьмью смертельными пулями.

Так он, попросту скажем, влип: виделось ему, как он приставляет эту вещь к голове порфириносного узурпатора сиреневых мундирчиков.

Ах, если бы доктор Фрейд начинал свою практику не в Вене, а в Петербурге, и был бы не Фрейлом, а Фрейдерманом с Большой Морской, дедушка не стал бы вакхической жертвой тверских землеробов, не понявших идеи обобществленного труда и распределения поровну. Ведь ничего он не знал о том, как, умирая от проказы в далеком знойном Туркестане, путаясь в разорванных кружевах горячечных воспоминаний, Вера Федоровна не могла увернуться от мокрого букета пудовых роз, любовно пущенного ей в лицо сиреневым пятном из жаркой ямы партера. "О, жажду... уберите розы..." — были ее последние слова.

Да, весь мир — театр: там или бросают пудовые розы или уверачиваются от них. Дедушка выбрал первое, но, по странной иронии судьбы, они ударили его в затылок, и, пусть это был выстрел из дробовика, это не имеет значения.

— Червь порока и червь сомнения точил его, — заключил

срочно вызванный на место происшествия дядя-мичман и кожаным рукавом сгреб прах племянника в коробку от шоколада "Миньон", а часть недогоревшего кистевого сустава с пороховой синью татуировки "Вера" и браунинг с восемью смертельными пулями влились в вечный круговорот природы на реке Мелведице близ города Лихославль, где осталась вдовой бывшая курсыстка с Одинадцатой линией, которая когда-то шептала "О, жажду!", где остался сиротой крохотный мальчик, который плакал: "Хочу есть!".

Голодно было. Хорошо, что дядя помог.

- У, ты меня совсем не любишь, - сказала вдруг душа Канительникова своему возлюбленному, устремившему рассеянные взоры в неведомые дали российской истории.

- Ай лав ю, май дарлинг! - поспешно отозвался Джон Ячменное Зерно. - Айбэгъёпадн, аэм лысн тую.

- Любишь? А почему не целуешь? - она кокетливо прижала к плечу свою пунцовую щеку. - Ну-ка!

- Год даменд! - подумал влюбленный иностранец. - Как я недооценивал женщин!

- Теперь мы никогда не расстанемся, - воскликнул он и сам удивился, что у него вышло по-русски. - Никогда!

- Никогда! - подхватила душа Канительникова. - Навсегда! Ты, главное, целуй! Мне больше ничего не надо в этом мире: "немного... тра-ляля-ляля, - она опустила слова, которые могли показаться обидными прекрасному сыну ячменного племени, может даже вызвать тень пустой ревности, - немного солнечного мая!"

Это было еще до того, как мы узнали слово "уотергейт". Нас тогда занимала история совсем другого президента, который не покинул дворец и лично отстаивал свой кабинет автоматом Калашникова. Он был убит, как гладиатор. И хотя это не касалось его, Канительников это принял как-то на свой счет; он стал чуть не каждый день ходить к бабушке, будто на обед, а сам все подбирался к коробке от шоколада "Миньон", чулом пережившей перипетии вражеской блокады и конфискации имущества. Канительников уже все понял: "Язык! - твердил он. -

Язык: со звездами нельзя говорить, как с женой", и когда он наконец изловчился открыть жестянку, бабушка, которая уже тогда не знала ни читать, ни писать, ни телевизор смотреть /будто и не было у ней бестужевского курса/, а только помнила: варить грибной суп, — тихо рассмеялась: "Серезенька, там нет ничего", — глядя на внука сквозь линзы времени в примитивной оправе, страшная, как сон, как грибной суп.

"Дурак ты, дедушка, но я поставлю, воздвигну тебе памятник! Почему, спросишь? Изволь. Да потому, что ты лишился формы, а как говорил в учебке сержант Бунеев: человек без формы — форменный нуль, даже если он и покойник".

С того дня Канительников полбил ночами гигантский ясен, отравленный мочей в углу Таврического сада, полбил, не отрывая глаз от гаснущей звезды своей жизни, непоправимо катящейся за Охту к Центральному госкрематорию им. Джордано-Бруно. Звезда прожала от ударов стамески по вонючему подену, которому он затеял придать черты республиканского дедушки /дедушка представлялся ему с букетом деревянных роз/, и когда звезда зацепилась в небе нашей Северной столицы за какую-то проволоку и повисла, виновато моргая, на тяжелом поясе оденного Ориона — крохотная булавоочная головка, почти невидимая в окружении багровых гигантов и ослепительных карликов, Канительников бросил стамеску и отбежал, чтобы увидеть изваяние во всей красе и величии.

— Экого ты фараона вылепил, — услышал он за спиной знакомый голос, оглянулся и увидел шикарного Бураго; тот восхищенно разводил руками. — Колоссально, и воляна как настоящая! Он у тебя на медведя смахивает! Колоссально!

Канительников не знал, что и делать: Бураго!

Кто ж не знает Бураго и его желтые сапоги! Кто? Ну, а кто вам достанет акрил? Кто вам степлер поларит? Кто вам, наконец, приведет в мансарду фирму, кто? Бураго! Бураго — скиталец, пилигрим, ученик Шемякина, любимец Костакиса!

— Колоссальный медведь! — кричал Бураго. — Это — все! "Медведь с розами!" Ты всех повалил! А я-то думаю: кто тут дерево по ночам крошит? Ну, ты — дизайнер. Каков Медведь!

Канительников не решился открыться, что строил дедушку но тот, будто мысли читал: "Н-да, ты думаешь, я не знаю,

что ты хотел? Хотел ведь? О, но ты уже ничего не мог с собой поделать — это область запредельного. Ты сам не знаешь, что сделал: это баланс на грани узнавания, это выход из полной беспредметности, это — то самое и "да" и "нет", это — все! Объект да ляр! Мы на нем такую капусту снимем... Ты только больше ничего не трогай, а я принесу колоссальный дак /только для тебя/, две минуты и все! Как мраморный будет!

И действительно, все кончилось в две минуты с того самого мгновения, когда подпиленный дедушка ухнул, как кедр ливанский, в сухие прошлогодние окурки, а Бурого кричал и хлопал Канительникова по спине: "Тотем! Это твой тотем! Капусту снимем!" и тому подобное, до того ужасного часа, когда услышал от Бурого: "Они тебя убьют, если узнают".

Канительников понял, что произошло именно то, чего не миновать было его дедушке в лихие времена, что и он запустил свой смертельный бумеранг под низким небом Северной столицы, что теперь остается только ждать, когда эта штука обернется и разрушит ему затылок. Тогда Канительников встал и, отодвинув мизинцами незнакомых прелестных ветрениц, сжимавших его в объятиях робкой страсти, поднялся среди сумрака и хлама, как монумент павшему герою долговременной осады, как стамеска, — шагнул через грудь Бурого, который вытекал из новых лакированных сапог, павился и захлебывался: "Зарежут они тебя, аха-ха! Четвертуют!" И Канительникову показалось, что там, за желтым голенищем, поднимает змеиную голову золотой нож.

Ветреницы умоляли его остаться, не покидать их, не оставлять их разбитые сердца в лохмотьях постылой девственности и прикрывали наготу школьными фартуками, но он высочил за дверь и побежал к Таврическому саду, чтобы глянуть в лицо не знающим пощадь потомкам тверских землеробов до того, как они выпустят ему внутренности. Он боялся не их, он трепетал при мысли, что уже по дороге ему упадут на голову с карнизов крепкие кирпичи и алебастровые изваяния футболистов-любителей, он даже не замечал, что на улице Петра Лаврова нет ни одного здания этой страшной разрушительной архитектуры — так превный ужас, всосанный еще с молоком матери, терзал его искалеченное воображение, словно пьяный

рыболов ржавым крючком бессловесного дождевого червя. Одежда его была в беспорядке.

А Бурого все хватал шип за лопыжки прелестных ветре-ниц, которые как рыбки трепыхались, торопливо надевая чулоч-ки: "Куда вы, бестолковые мочалки? — хохотал он, стуча по ковру желтыми сапогами. — Они его уже повесили за яйца! Аха-ха-ха-ха! Девочки, погодите, давайте ляжем со мной, пока мне тоже что-нибудь не оторвали! Аха-ха-ха-ха! Ведь я же не в детский садик продам этого фараона, чтоб он провадился! Там теперь все, все подоразает! Аха-ха-ха-ха! Ну, куда вас несет, девочки? Эх, девочки, девочки, дуры вы вонючие, де-вочки..."

Канительников пришел и сел на деревянную лавку, совсем как сегодня, и официант сказал ему: здорово, мод, и так да-лее. Он бросил халдею все деньги, которые ему удалось вытряс-ти из прижимистого Бурого, бросил без сожаления, хотя соби-рался поместить их куда выгодней, например: купить для мате-ри оренбургский пуховый платок. Ей давно хотелось иметь эту замечательную вещь, она о ней нередко вздыхала за вдовьими дасьянсами так, чтобы слышал сын, последняя ее надежда и драгоценность и утешение в грядущей одинокой старости — так говаривала она своим приятельницам, а сама втайне мечтала, как пройдет мимо военкомата, а майор Ковалев обратит внима-ние, высунется в окошко и скажет: ах, мол, Вера Ивановна, какая вы право, и тому подобное, и сделает ей конструктивное предложение. Ведь она два года назад рассталась с последним супругом: он оказался "не тот человек", к тому же проявил себя излишне меркантильным на фоне ее привязанности к яркой жизни — вот и вся память о нем. Предыдущие и того не сохра-нили, за исключением папаша Канительникова, который приучил ее, бывшую мотальщицу ситценабивной фабрики им. Веры Слуц-кой, носить креплединовые платья, панбархат и изумрудные кимоно с золотыми праконами и чайными розами, но и он на-чисто выпал из памяти еще в сорок девятом году: уехал на службу в "победу", а вернулась только "победа". Господи, ну кто об этом сейчас помнит: вернулась "победа" — не вер-нулась "победа", какая разница; кого гнетет чужое горе? Вот потому не грусть по прошлому, а тоска по настоящему

герзала ее сердце.

Канительников приказал открыть для всех море пива, напустить туда копченых ставрид и скумбрий, устроить соломки для утопающих, отправить в стихию пенных волн синие корабли папиросных коробок: "Пусть все сожрут, чтобы ни одна гнида не могла сказать, что Канительников продался", — объяснил он официанту и показал ему на медведя...

— Слушаюсь, дизайнер! — расшаркался перед ним работник общепита.

Потом, на протяжении многих лет, многие приходили в этот подвал, где когда-то сидел за столом Канительников, где он поднялся во весь рост, где упал сраженный. Они видели стеклянные кружки, опаленные его чудовищным огнем, они измеряли роковую черту и стояли на ней безмолвные, подавленные, не в силах глядеть медведю в деревянные глаза и ничего не могли понять. А две какие-то барышни появились однажды ни свет ни заря и, отталкивая друг друга нервными локтями, так прямо и спросили телефон того мужчины, который был с ними там, а потом скрылся в этом подвале, оставив их разбитые сердца в лохмотьях постылой девственности. "Его уже нет с нами, — ответил им официант, — увы нам с вами, увы". Но они сказали, что будут его ждать, и ждут до сих пор. И до сих пор лезут в окрестных дворах, играя в Канительникова, калечат надоедливых бабушек и младших сестер убийственными словами; убивают кошек дикими криками; не учат уроков; не выполняют общественных поручений, — так что никто не знает, в кого они и что из них в конце концов выйдет. Просто беда. И никто не может сказать: куда пропадо тело Канительникова, не может показать его могилу. Правда, один старый мичман, седой ветеран Цусимы, уверял, что Канительников жив: будто бы знаменитый Шустин-младший своими гениальными руками склеил ему новые мозги из того винегрета, который принесли в пивной кружке. Доктор знал Рабле /он много чего читал/, он заново внушил Канительникова ходить, говорить и выпивать, он внушил бы его читать и писать, но того выгнали из стационара, чтобы он не пугал медсестер страшным голосом. "Гуляй, студент шоферских курсов, — сказал ему на прощание

знаменитый нейрохирург. — Тут даже мой папа тебе не поможет". Тогда Канительников дал обет молчания, уверял мицман, и ушел на Великий океан искать непутевую звезду своей жизни, стремительно туда закатившуря, а когда вернется, будет Страшный суд или что-то в этом роде. Конечно же, ему никто не верил, потому что он же клялся, будто крейсер "Варяг" ни сегодня-завтра восстанет из пучины и явится к Николаевскому мосту заместо "Авроры", и тоже будет Страшный суд. К тому же все видели трижды пораженного Канительникова, вложили персты в его раны и могли свидетельствовать: каждая из них смертельна.

Но никто не может сказать, как все это вышло тогда, когда душистый хмель и синий мох столь плотно обвили Канительникова, что он не мог шевельнуть и пальцем на ноге, а вокруг пили и смеялись праздные инженеры и техники, пехотные офицеры и прочие "студенты шоферских курсов". "Дизайнеру — ура!" кричали они нестройным хором, подходили по-одному, лапали селедочными руками в припадоочном обожании и клялись, что им совершенно наплевать, подорожало это сраное пиво или нет, ведь главное, чтоб оно б ы л о в а с с о р т и м е н т е, а война нет. "Не наше дело — рюмки делать, наше дело — водку пить", — шутили они, но Канительников думал только о том, что если он сейчас же не встанет, то душистый хмель и синий мох превратят его, легконогого зверя, в мясную тушу, из которой можно приготовить тысячу вкусных блюд, и он уже не сможет глядеть в самое лицо своей гибели. Тогда Канительников начал вытаскивать себя из растительного месива, тащить со стонами и треском, как червивый зуб из раздутой челюсти, обливаясь потом и слезами ярости, а когда встал — рванул вдруг руками во все стороны, от чего все полетело к чертовой матери.

"На верьте, если вам скажут, что вы не скоты и не грязные подонки! — закричал он несвоим голосом. — Это вы убили моего дедушку, вы даже прах его развеяли, вы знали — он будет стучать в мое сердце! Но я не боюсь вас, убийцы, хотя знаю, что мне уже не сойти с этого места. Дедушка, смотри, как надо было делать! Ну, крысы, иди сюда! Я убью каждого, кто переступит эту черту, — он провел перед собой на столе кривую линию. Убью любого, я-а-а-а-а-а-а-а-а!"

он, видно, хотел много чего сказать, но все слова случились разом, и у него вылетели вон голосовые связки — получился жуткий звериный вой, от которого стали плавиться пивные кружки, взрываться спичечные коробки, и кто знает, чем бы все это кончилось? — неизвестно, только вдруг за спиной Канительникова возник какой-то мужчина, кто его знает, откуда он выскочил? — чужой, говорят, его тут сроду не видали. — ударил несколько раз дизайнера по голове и выбежал за дверь, как молния, только сверкнули желтые сапоги.

Сколько было разговоров потом, но даже тогда, когда Канительников в крови и судорогах лежал у них в ногах, даже над ним все говорили разное: одни — что тот, в сапогах, ударил его бутылкой от шампанского; другие готовы присягнуть, что — кирпичом; третьи — что топором, — ничего не разберешь, а единодушны лишь в том, что ТОТ ударил Дизайнера первый. Потом пошел слух, что никакого мужчины вообще не было, а у Канительникова попросту взорвался затылок от перенапряжения мозга, мало того, говорят, что потом был такой же случай с матросом в "Петрополе". Говорят, говорят — все равно никто ничего толком не знает, не понимает, а тут еще этот цусимский ветеран упорно твердит, что видел золотой нож, но ему, конечно же, никто не верит.

— Ах, милый, я тебя, наверное, совсем замучила болтовней, — сказала душа Канительникова. — Сама не знаю, что со мной приключилось сегодня — говорю, говорю. Но ты не сердись, любимый, мне было так тяжело, а вот рассказала — и камень свалился, как родилась заново — так мне с тобой хорошо. Ну, поцелуй меня, я совсем озябла, иди ко мне, иди скорей.

— Ай кант дуит, — ответил Джон Ячменное Зерно, встал и надел штаны.

— Что случилось? — удивилась она. — Куда ты собрался, у тебя какие-то дела?

— Ноу, ай див ю форева, э... ца-фсьек-та.

— Как? — подскочила она, будто кто-то позвонил у дверей, строгий и неуместный. — Как? Разве ты не возьмешь меня с собой?

- Ну. Ай кант цуит, - повторил он, вытряхнул из карманов сигареты, зажигалку, ручку, оставив себе только записную книжку, и пошел.

- Подожди, я ничего не понимаю! Я тебя чем-нибудь обидела? - она горько заплакала, потому что увидела, что он не шутит - ей стало жалко себя. - Ну, почему, почему? - с упреком небесам повторяла она, хватая его за одежду, прижимаясь к нему всем телом. - Почему?

- Потому что мне не нужно твое вранье, - медленно произнес Джон Ячменное Зерно и вышел через черный ход, стараясь на нее не глядеть.

Канительников услышал, как его душа рыдает у него в середине, и обнаружил, что случилась трагедия: почувствовал всем своим существом, заросшим мхом и ползучими растениями; своей увечной головой, где находилась одна-одиношенька, неведомым образом туда попавшая, совершенно идиотская мысль: "какую все-таки большую нагрузку испытывает при трогании с места крестовина карданного вала автобуса!", увидел глазами, услышал.

Видение обрушилось на Канительникова - то самое, которое преследовало его все это время, когда он гонялся за гаснущей звездой своей жизни по дикой снежной пустыне отечества и диктовал телеграфисткам /потому что не умел писать/ вранье для матери: будто он бригадир монтажников на строительстве ГЭС, а мать посылала ему червонцы с приписками: мол, горжусь тобой, Сереженька, хоть ты и не сделаешься космонавтом, а жалко и прочее /все не оставляла надежд на оренбургский пуховый платок/, но он бросал приписки в сортир /потому что не умел читать/, кстати, не узнал, что умерла бабушка, что ему не есть больше грибного супа, - а все это время его преследовало кошмарное видение.

Вот и сейчас явилась ему эта знакомая колоссальная молекула свирепого этилового спирта, которая раскаленным шприцем вытягивала из него воду - страшно, конечно, но привычно, - а тут Канительников услышал незнакомый голос, совсем как в том стихотворении, которое он прочитал, когда еще умел читать и писать: "Посмотри вперёд", - Канительников посмотрел и увидел бигровую звезду; "Оглянись на-

зад", — Канительников повернулся и увидел белую звезду, и тогда понял, что это уже не пытка, а казнь, что это АД.

"Милый, мой любимый, мой дорогой Джони, — писала душа Канительникова. — С тех пор, как ты уехал, я не нахожу себе места, я вся извелась. Никак не могу понять: чем я перед тобой провинилась, за что ты на меня сердишься? Скажи скорей — я больше не буду так делать. У меня же ничего, кроме тебя, нет. Я больше не могу ни о чем думать.

Вчера я была в магазине, и там пролавалась замечательная сковородочка, я ее повертела и подумала, что такая сковородочка в самый раз для моего Джони. Боже мой, как я разревелась, меня даже пропустили без очереди.

Ты только не думай ничего: тебе совсем не обязательно на мне жениться. Разве я такая дура, что ничего не понимаю? Мне бы только видеть тебя хоть раз в неделю. Ты знаешь, мне кажется, я даже наших детей не смогла бы любить, как тебя. Приезжай, приезжай скорее, я тебя очень жду. Целую тебя. Твоя Дуся.

Она еще немножко поплакала, потом вздохнула в потолок и написала адрес: Здесь. Петровский проспект. Пивзавод "Красная Бавария".

//////